



В. М. ЖИВОВ

**ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
В РОССИИ XVIII ВЕКА**

**КУЛЬТУРНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ
ПОЛИТИКА ПЕТРА I**

*

**ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕОРИИ
И ИХ РУССКАЯ РЕЦЕПЦИЯ**

*

**ДУХОВЕНСТВО И ТРАДИЦИИ
ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

В. М. Живов

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В РОССИИ XVIII ВЕКА



**Школа
«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Москва 1996

ББК 81.2Р
Ж 71

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)

проект 96-04-16287

Живов В.М.

Ж 71 Язык и культура в России XVIII века. — М.: Школа
 «Языки русской культуры», 1996. — 591 с.
 ISBN 5-88766-049-X

Книга посвящена проблемам становления основных свойств литературного языка (полифункциональности, общезначимости, кодифицированности, стилистической дифференциации) как социально-культурного процесса. Рассматриваются языковые реформы Петра I в контексте идеологической борьбы его времени, возникновение противопоставления духовного и светского языка. Особое внимание уделено деятельности академических филологов (Тредиаковского, Пауса, Адодурова, Ломоносова) и процессу нормализации литературного языка нового типа. Анализируется формирование «славенороссийского» языка, соединяющего церковнославянскую и русскую языковые традиции, и роль этого процесса в развитии имперского дискурса. Взаимодействие светской и духовной культуры, его влияние на язык прослеживается вплоть до начала XIX в. (споры арханстов и новаторов, реформа духовного образования).

ББК 81.2Р

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su) the Danish bookseller firm G · E · C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: helle_d@danadata.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства Школа «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G · E · C GAD.

ISBN 5-88766-049-X

© В.М. Живов, 1996
© А.Д. Кошелев. Серия
«Язык. Семантика. Культура», 1995
© В.П. Коршунов. Оформление серии, 1995

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	9
-------------------	---

Введение

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЫСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НОВОГО ТИПА

1. Литературный язык нового типа как предмет социокультурной истории	13
2. Функциональное переосмысление генетически разнородных элементов в истории русской письменности	20
3. Основные регистры книжного языка и процессы их формирования	31
4. Переосмысление разновидностей книжного языка	41
5. «Простота» языка и способы ее лингвистической реализации	52
6. Секуляризация культуры, ее русская специфика и значимость для переосмысления языкового узуса	59

Глава первая

ПЕТРОВСКАЯ РЕФОРМА ЯЗЫКА. КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

1. Задачи языковой реформы и характер ее реализации	69
1.1. Реформа азбуки как прообраз языковой реформы	73
1.2. Лингвистические установки в петровской реформе языка	88
1.3. От гибридного церковнославянского к «простому» русскому языку	98
1.4. Новизна и преемственность в новом литературном языке ...	110

2. Языковая политика и борьба культур	124
2.1. Языковая реформа и церковно-политическое противостояние ..	126
2.2. «Простота» и семиотические функции гражданского наречия	143

Глава вторая

НАЧАЛО НОРМАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАКТИКА

1. Формирование петербургской культуры и новая концепция литературного языка	155
1.1. Языковая программа первых кодификаторов: новые моменты	162
1.2. Классицистический пуризм и его первая рецепция.	171
1.3. Актуализация генетических параметров: славянизмы	184
1.4. Нормализация в морфологии и использование генетических параметров	195
2. Конфликт лингвистической теории и языковой практики. Концепция поэтического языка	216
2.1. Поэтические вольности и церковнославянская литературно- языковая традиция.	221
2.2. Язык оды и церковнославянский панегирик	243

Глава третья

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. СЛАВЯНОРОССИЙСКИЙ ЯЗЫК И СИНТЕЗ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ ТРАДИЦИЙ

1. Новая природа русского литературного языка и возникновение славянизирующего пуризма	265
1.1. Полифункциональность нового литературного языка	270
1.2. Единство природы русского и церковнославянского язы- ков	277
1.3. Новая интерпретация пуристических рубрик	290

2. Рационалистический пуризм и богатство славенороссийского языка	307
2.1. Богатство и «древность» русского языка	308
2.2. Новая стилистическая нормализация	328
2.3. Рационалистический пуризм и его русская метаморфоза	350
3. Синтез культурно-языковых традиций. Славенороссийский язык и его функционирование	368
3.1. Эволюция языка духовной литературы	376
3.2. Единый язык единой культуры	402

Глава четвертая

НОВОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ КУЛЬТУР. ЧИСТОТА ЯЗЫКА КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

1. Эмансипация культуры и полемика архаистов и новаторов	419
1.1. Распад культурно-языкового синтеза и программа карамзинизма	430
1.2. полемика о языке и проблемы культурного самосознания. ...	441
2. Славянизующий пуризм и его переосмысление в духовной словесности	457
2.1. Осмысление пуристических рубрик.	471
2.2. Отношение к языковому знаку	485
2.3. Секуляризация славянизмов и противостояние светской и духовной традиций	497
ЛИТЕРАТУРА	510
СОКРАЩЕНИЯ	555
УКАЗАТЕЛЬ	556

Предисловие

Данная книга — существенно расширенный и переработанный вариант моей монографии «Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века», опубликованной в 1990 г. Смена названия отчасти отражает расширение содержательного диапазона книги, а отчасти обусловлена стремлением сказать проще и устранить некоторую скрытую тавтологичность, присущую респектабельному ученому дискурсу. В самом деле, не означает ли культура то же самое, что культурные конфликты? Культуры не бывают монологическими, так что столкновение культурных парадигм — это каждодневный хлеб культурной истории, и нет надобности это лишний раз подчеркивать. Литературный язык также можно без всякого ущерба заменить на язык без всяких эпитетов, и не только потому, что в понятие литературного языка разные исследователи вкладывают почти столь же широкий репертуар смыслов, как и в понятие языка вообще, но и потому, что нам важны не эти абстрактные смыслы, а момент более общий — место явлений языка в сталкивающихся культурных парадигмах. Язык в этой своей ипостаси может быть, наверно, назван литературным, но это будет лишь повторением уже сказанного. И наконец XVIII — начало XIX века можно, если не слишком увлекаться хронологическими исчислениями, превратить в XVIII столетие, потому что, если иметь в виду культурную эпоху, оно завершилось не тогда, когда стрелки часов миновали полночь на 1 января 1801 года, и даже не в 1801 году, столь зловеще отмеченном убийством императора Павла — последнего императора, целиком мыслившего в категориях этой эпохи. Оно завершилось, когда иссякли присущие ему культурные парадигмы, а это был постепенный процесс, важнейшей вехой которого стал отнюдь не хронологический рубеж, а Отечественная война 1812 года. Если иметь в виду эти

соображения, «Язык и культура в России XVIII века» оказывается достаточно точным переводом предшествующего названия.

Дополнения, внесенные мной в новое издание, сводились в основном — если не говорить об общем расширении материала — к трем моментам. Во-первых, когда писался первоначальный вариант книги, я исходил из того, что языковая ситуация средневековой Руси может быть описана как диглоссия, которую, впрочем, я понимал несколько иным образом, чем это делается в классической работе Чарльза Фергусона. В настоящее время я полагаю, что целесообразнее говорить о регистрах письменного языка русского средневековья, и этот взгляд на предысторию языковых процессов XVIII в., кратко изложенный в Введении, дает возможность по-новому взглянуть на последующее развитие, рассматривая его как переосмысление и перегруппировку материала, восходящего к разным регистрам письменного языка предшествующего периода.

Во-вторых, существенно большее внимание уделено процессу грамматической нормализации, который в настоящее время кажется мне не только исключительно важным в лингвистическом плане, но и крайне показательным в плане культурной истории. Отношение к культурному прошлому, понимание роли учености и социального престижа и в конечном счете воля к власти куда более отчетливо проявляются в спорах о какой-нибудь флексии или даже в употреблении того или иного морфологического варианта. Побудительные причины и диапазон выбора восстанавливаются здесь достаточно четко, тогда как другие аспекты языкового поведения, а тем более прямые разъяснения идеологической позиции такой ясностью не обладают. Прямые разъяснения у авторов XVIII в. появляются не часто и, когда появляются, нередко предназначены не для адекватного означения этой позиции, а для демагогической игры с аудиторией. Такая игра, конечно, свойственна всем временам, а отнюдь не только эпохе Петра и Екатерины, так что всегда лучше иметь дело с менее запутанными манифестациями. Видимо, это не всегда возможно, и в этом отношении русский XVIII век — время особенно удачное для исследователя-филолога.

В-третьих, более подробно и во многом по-новому рассмотрены лингвистические и социокультурные установки А.П.Сумарокова. Сумароков несомненно был одной из ключевых фигур в литературно-языковой истории XVIII столетия. Тем не менее, когда речь идет об истории языка, а не об истории литературы (например, в трудах В.В.Виноградова), его роль оказывается отодвинутой на второй план сравнительно с ролью Ломоносова и Тредиаковского. В новом варианте книги я стремился освободиться от этого утвердившегося

предрассудка. Не берусь судить, насколько все эти изменения улучшили работу, однако в любом случае они сделали ее достаточно несхожей с первоначальным текстом, что для автора и — буду надеяться — для читателя оправдывает ее новое издание.

За прошедшие годы мне посчастливилось обсуждать вышедшую работу, равно как и идеи, возникшие в развитие изложенной в ней концепции, со многими коллегами, что так или иначе отразилось в новом тексте. С особой благодарностью хочу в этой связи упомянуть Р.Вортмана, Дж.Дель'Агату, А.А.Гиппиуса, Г.Кайперта, И.Кляйна, М.Левитта, И.Паперно, А.Тимберлейка, Б.А.Успенского, Г.Хютль-Фольтер. Ошибки, заблуждения и неточности остаются, конечно, на моей совести, и только я несу за них ответственность.

Несколько технических замечаний. Перекрестные ссылки даются в виде § I-1.1, где римская цифра обозначает главу, а помещаемые через дефис арабские — параграф данной главы; § 0- отсылает к Введению. Цитаты, как правило, приводятся в упрощенной орфографии (стандартным образом заменены буквы, отсутствующие в современном алфавите, опущен ъ в конце слов), причем порой упрощение идет дальше, чем мне бы хотелось — имею в виду те случаи, когда источники цитаты полностью игнорируют орфографию оригинала. Исключением являются лингвистические примеры, цитаты из рукописных источников и из средневековых текстов — здесь орфография воспроизводится более тщательно. Я, впрочем, не пытался формально определить, какие тексты нужно отнести к средневековым, а какие — к новому времени, так что педантическая последовательность в этом отношении отсутствует. Вряд ли в ней была необходимость, если учесть, что (по выражению философа) «чулок духа», сотканный в предлагаемой читателю книге, и без того слишком плотно опутывает свободную мысль.

Февраль 1996
Москва

Введение

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЫСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НОВОГО ТИПА

1. Литературный язык нового типа как предмет социокультурной истории

Восемнадцатое столетие — эпоха радикального преобразования русской языковой ситуации, захватывающего все уровни русского языка и все сферы его функционирования. В этот период формируется русский литературный язык нового типа (национальный литературный язык), и данный процесс представляет собой один из важнейших аспектов модернизации и рационализации русского общества и русской культуры. Этот процесс не только воплощает происходящие в данный период социокультурные преобразования, но и создает для них условия, поскольку именно унифицированный литературный язык выступает как формальная основа складывания нового государственного дискурса. Унификация и универсализация литературного языка не только вбирает в себя новые отношения власти, но и навязывает эти отношения обществу, утверждая исключительность господствующей культуры. Именно в силу этого частные изменения, происходящие в литературном языке, могут быть непосредственно или опосредствованно связаны с социокультурной динамикой русского общественного самосознания.

Вплоть до середины XVII в. русское общество было относительно слабо стратифицировано и в социальном отношении относительно мобильно. С середины этого столетия стратификация стремительно нарастает, достигая своего апогея в Петровскую эпоху, когда на руинах средневековья выстраивается сословно-кастовая социальная структура, закрепляющая за каждым индивидом его место в новом государственном механизме (ср.: Хелли 1978; Хелли 1982). К концу пет-

ровских преобразований податная реформа окончательно разделяет население империи на нужные государству классы и вводит систему контроля над численностью и составом каждого из них (ср.: Анисимов 1982). Этот псевдогоббсовский механизм заводится и поддерживается в действии господствующей элитой, которая полагает себя его центром, обеспечивающим единство всех составных частей. Единство культуры и единство языка оказываются необходимыми атрибутами этого российского левиафана, что и определяет культурную и языковую политику правящей элиты. В эпоху расцвета французского абсолютизма Ш.Перро писал: «Il n'y a en France, que le pur François, ou pour mieux dire, que le language de la Cour, qui puisse estre employé dans un ouvrage serieux; parce qu'il en est dans un Royaume, du language, comme de la monnoye; il faut que tous les deux pour estre de mise soient marquez au coin du Prince» (Перро 1964, 312). Таким образом, Перро приравнивал единство литературного языка в правильно устроенной монархии к монополии на эмиссию денежных знаков. Сколь бы утопическим ни было это государственное единство — в России еще в большей степени, чем во Франции, — именно оно преобразовало языковую ситуацию и обуславливало развитие литературного языка нового типа.

Признаки литературных языков нового типа хорошо известны. Становясь, согласно определению Пражских тезисов, «le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante» (Вахек 1964, 45), литературные языки характеризуются полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств. Именно эти черты и приобретает русский литературный язык нового типа в продолжении XVIII — начала XIX века. Ни одна из разновидностей письменного языка допетровской Руси совокупностью всех этих свойств не обладает, так что сам вопрос о том, был ли литературный язык в древней Руси, остается дискуссионным. А.В.Исаченко, можно вспомнить, полагал даже, что «русский литературный язык в современном понимании этого... термина возникает лишь в течение XVIII в.» (Исаченко 1976, 297), тогда как В.В.Виноградов, напротив, считал, что «русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (Виноградов 1938, 5), и именно последняя точка зрения лежит в основе концепции церковнославянско-русской диглоссии, развиваемой Б.А.Успенским (Успенский 1987; Успенский 1994).

Был или не был церковнославянский русским литературным языком, остается в большой степени вопросом терминологическим, и поэтому может нас здесь не занимать. Существенно, что церковнославянский — как бы мы его ни определяли и какие бы памятники ни

связывали со сферой его функционирования — не был языком ни полифункциональным, ни кодифицированным. Письменный язык в древней Руси не был единым; наряду со стандартным церковнославянским, представленным прежде всего в текстах Св. Писания и богослужения, употреблялся иной вариант книжного (церковнославянского) языка, который можно было бы назвать гибридным (см. о нем ниже), равно как и язык некнижный, также не лишенный разновидностей. Вне зависимости от того, будем ли мы называть эти идиомы «языками» или (что предпочтительнее) «регистрами», они не образуют той унитарной системы, которую представляет собой современный литературный язык. Можно сказать, что письменный язык древней Руси фрагментирован, причем его отдельные фрагменты (регистры) имеют разные функции (т.е. ни один из них не является полифункциональным) и в разной степени нормированы (т.е. при самом широком понимании кодификации нет возможности говорить о кодифицированности письменного языка в целом).

Предыстория русского литературного языка нового типа (или — в иных терминах — история русского литературного языка эпохи средневековья) должна включать изучение того, как развивались в письменном языке те характеристики полифункциональности, общезначимости, кодифицированности и стилистической дифференциации, которые определяют современные литературные языки (см.: Кайперт 1988б, 315–316). Очевидно, все эти качества появились не мгновенно, и по крайней мере для некоторых из них можно говорить о постепенном нарастании. Что касается полифункциональности, здесь можно было бы упомянуть расширение жанрового репертуара книжных по языку текстов в XVI–XVII вв., возникновение ряда сфер (например, действующего законодательства), в которых книжный язык употреблялся параллельно с некнижным (ср.: Живов 1988б, 74), появление текстов, написанных на некнижном деловом (приказном) языке, но не относящихся к делопроизводству как таковому (перевод «Учения и хитрости ратного строения пехотных людей» 1647 г. или сочинение Котошихина — см.: Станг 1952; Пеннингтон 1980) и т.д. Для развития кодификации существенное значение имело возникновение грамматического подхода к книжному языку в XVI в. (ср.: Живов 1993а) и появление грамматик книжного языка, во многом повлиявших на кодификацию русского литературного языка нового типа.

Тем не менее радикальные изменения совершаются именно в Петровскую эпоху. Именно в это время в разных сферах письменности благодаря сознательной языковой политике утверждается новый литературный язык, а старые регистры письменного языка вытесняются

на периферию языковой деятельности, так что с этого момента начинается их постепенное отмирание — для одних полное (приказной язык и гибридный церковнославянский), для других частичное (стандартный церковнославянский, остающийся в употреблении лишь как язык богослужения). В результате этого процесса новый литературный язык приобретает полифункциональность и общезначимость. В 1730-е годы начинается кодификация этого литературного языка, отбирающая языковой материал из уходящих в прошлое письменных традиций, систематизирующая его и формирующая единую норму нового литературного языка. Тот языковой материал, который остается за рамками этой нормы, во многих случаях не полностью выводится из употребления, а сохраняется в качестве дополнительных вариантов; эти варианты получают стилистическую нагрузку, как правило, несущую на себе отпечаток той письменной традиции, к которой они восходят. Так у нового литературного языка появляется стилистическая дифференцированность.

Эти процессы унификации и нивелирующей обработки не являются чем-то специфическим для русского культурно-языкового развития; они находят многочисленные аналогии в истории других литературных языков, вовлеченных в процесс модернизации общества в начале нового времени. Существенные особенности выделяются в том исходном фоне, на котором развивается этот процесс, и отличительные черты его динамики обусловлены именно этими отправными параметрами. Одним из этих параметров являются сложные взаимоотношения русского (восточнославянского) и церковнославянского в истории русской языковой деятельности. Другим, впрочем, связанным с только что упомянутым, — культурологическая значимость церковнославянских и восточнославянских по происхождению языковых средств в функционировании регистров письменного языка.

Традиционный книжный язык (церковнославянский) прямо соотносится с традиционными духовными ценностями, поэтому его вытеснение на периферию языковой деятельности связано с радикальным переделом культурного пространства. Становление литературного языка нового типа на всем своем протяжении (до начала XIX в.) разворачивается в постоянном переплетении с борьбой традиции и реформаторства, светской культуры и духовной культуры, западной ориентации и национальной традиции. Эта особая семиотическая насыщенность истории русского литературного языка в данный период выводит эту историю за рамки типологически характерного, позволяет через призму развития языка увидеть динамику важнейших социальных и культурных процессов и облекает проблему власти в языке

в чрезвычайно конкретные формы — вплоть до полемики об отдельных морфологических показателях.

Вовлеченность истории языка в социальные и культурные процессы возникает за счет того, что языковые элементы в сознании пишущих и говорящих существуют не как абстрактные средства коммуникации, а как индикаторы социальных и культурных позиций. Языковая деятельность неотделима от ее интерпретаций, а символическое (культурологическое) измерение языка создается из герменевтических пластов, накапливающихся в его истории (ср.: Рикер 1995). В формировании литературного языка нового типа герменевтический план играет особенно большую роль, поскольку именно символические коннотации языковых элементов определяют их судьбу при том сознательном отборе и классификации языковых средств, с помощью которых создается унифицированная норма нового языка. В силу этого, анализируя данный процесс, мы должны реконструировать те интерпретации, с которыми имели дело устроители нового литературного языка, что предполагает, в свой черед, реконструкцию тех герменевтических пластов, которые актуализовались в данной интерпретации. Задачи подобной реконструкции и обращают нас к предыстории, создающей то смысловое поле, на котором совершается передел культурного пространства.

Приведу пример. В 1750-е годы Тредиаковский несколько раз обвиняет Сумарокова в том, что тот употребляет «площадные» выражения и формы, свойственные «грубому деревенскому» языку или языку «пирожного ряда». К таким погрешностям Сумарокова Тредиаковский относит, в частности, формы прилагательных им.-вин. ед. м. рода с окончанием *-ой* (*злой* вместо *злый*, *чермной* вместо *чермный* — см. § III-1.3). Если понимать высказывания Тредиаковского буквально, т.е. не корректировать их обращением к символическому измерению предыстории, то его лингвистическая позиция реконструируется в следующем виде: нормы литературного языка должны соответствовать языку социальной элиты, социальные верхи употребляют окончание *-ый*, а социальные низы — *-ой*, поэтому норма должна закрепить окончание *-ый*, а не *-ой*. Такого рода социолингвистический критерий формирования литературной нормы выглядит достаточно правдоподобно и находит прямое соответствие в истории французского языка, несомненно хорошо знакомой Тредиаковскому и воспринимавшейся им как образец.

Подобное истолкование, однако, ни в коей мере не соответствует действительности. Социолингвистические оценки Тредиаковского никакого отношения к реальной социолингвистической дифференциации не имеют. Для него в данный период существенно противопо-

ставление «чистого» языка, основанного на грамматическом «разуме» и следующего литературно-языковой традиции, языку «нечистому», относительно открытому для влияния живой речи. Основой концепции Тредиаковского является рационалистический пуризм, а социолингвистические оценки оказываются лишь привычными ярлыками, усвоенными из французской языковой полемики. Все их содержание сводится к условному обозначению любых отступлений от утверждаемой Тредиаковским унифицированной нормы нового литературного языка. Само развитие рационалистического пуризма обусловлено в конечном счете стремлением сочетать общеевропейские лингвистические установки с национальной литературно-языковой традицией. Именно к таким выводам приводит анализ воззрений Тредиаковского (см. § III-2.3).

Обращение к предыстории показывает, что окончание *-ый* несколько не характеризует речь социальной элиты; оно идет вообще не из разговорного языка, а из книжной традиции. Для разговорного языка характерно окончание *-ой*, и именно этот факт дает Тредиаковскому основание для критики Сумарокова: обвиняя его в «площадном употреблении», Тредиаковский на самом деле возражает против такой концепции литературной нормы, для которой общее разговорное употребление является основным критерием. Сумароков, однако, употребляя окончание *-ой*, может ориентироваться не на разговорную речь, а на ту же книжную традицию, которая допускала это окончание наряду с *-ый* (это характерно и для гибридных славянских текстов XVII века, и для текстов на «простом» языке Петровской эпохи и 1730-х годов — см.: Живов 1988а, 36). Обвинения Тредиаковского никак не отражают, таким образом, лингвистических позиций Сумарокова, они обусловлены динамикой собственных воззрений Тредиаковского и обрисовывают его позиции как реформаторские, связанные не только с пересмотром лингвистических концепций 1730-х годов, но и с радикальной ревизией всей традиционной языковой практики. Выбор варианта *-ый* предстает как опыт нормализации, основанием для которой служат образцовые (а не гибридные) церковнославянские тексты, грамматическая традиция и соображения, касающиеся генетической характеристики грамматических элементов. Этот выбор предполагает переосмысление вариантных отношений флексий *-ый* и *-ой* как одного из моментов оппозиции русского и церковнославянского (такое понимание более раннему периоду не свойственно) и ориентацию норм русского литературного языка на национальную литературно-языковую традицию, в качестве которой выступает традиция церковнославянская. Предлагаемая Тредиаковским нормализация выдвигает на первый план ученость и историче-

ское знание, соответствующие той социальной позиции, на которую претендует Тредиаковский.

Сумароков, отвергая предлагаемые Тредиаковским критерии нормализации литературного языка, противопоставляет аристократический вкус ученому разуму (см. § III—2.2), отказываясь уступить задачу просвещения новой элиты ученым разночинцам. Учить благородству мыслей и благородству поведения (в том числе и языкового) должны те, кто сам получил благородное (дворянское) воспитание, та избранная часть общества, которую Сумароков — несколько анахронистически — концептуализирует по образцу западноевропейского рыцарства, представляя Россию в виде «феодальной утопии» (Гуковский 1941, 359). Именно эту позицию стремится дискредитировать Тредиаковский, указывая на многочисленные погрешности Сумарокова в языке. На первый взгляд это может показаться бессмысленной критикой педанта, не ставящей никаких принципиальных вопросов. Однако подобные мелкие замечания позволяют Тредиаковскому сделать вывод, что Сумароков «не обучался... надлежащим Университетским образом Грамматике, Реторике, Поэзии, Философии, Истории, Хронологии и Географии, без которых не только великому Пииту, но и посредственному быть невозможно» (Куник 1865, 496), и, таким образом, на роль просветителя не подходит. Таким образом, необходимым условием создания нового литературного языка оказывается ученость, и именно ученым должна быть отдана власть над языком. Лингвистические установки двух авторов соответствуют при этом их литературным позициям, а те комплексы эстетических, историко-культурных и лингвистических представлений, которые образуются этими отдельными противостояниями, служат основой для борьбы за господствующий дискурс, приобретающей невиданную остроту со времени петровских преобразований.

Репертуар регистров письменного языка в допетровскую эпоху реализовался прежде всего в различном сочетании в них церковнославянских и восточнославянских по происхождению элементов. Соответственно, именно эти элементы, отсылающие к разным сферам социального сознания, формируют языковой материал, на котором строится символическое измерение языковой деятельности. Само по себе происхождение элементов не определяет связанных с ними социокультурных коннотаций, существенно не происхождение элемента, а его квалификация в языковом сознании носителей, т.е. не генетические, а функциональные параметры. Те или иные элементы приобретают роль символических индикаторов традиционной духовной культуры или секулярной инновации не в силу того, что,

как устанавливает сравнительно-исторический анализ, они восходят к южнославянскому, восточнославянскому или еще какому-либо источнику, а в силу того, что носители, как правило, вовсе не подготовленные к сравнительно-историческим штудиям, воспринимают эти элементы как характерные для определенного регистра или для определенной письменной традиции, т.е. как книжные или некнижные, нормативные или ненормативные и т.д. Для того чтобы мы смогли обнаружить, как язык участвует в социокультурных процессах, предистория должна открыть нам не этимологические, а функциональные свойства языковых элементов, их герменевтический статус в языковом сознании пишущих и говорящих. Таким образом, обращаясь к предистории, мы ищем в ней следы того, как из многообразия языковых элементов разного происхождения сложились их функциональные отношения и как на эти функциональные варианты накладывались различные символические смыслы.

2. Функциональное переосмысление генетически разнородных элементов в истории русской письменности

Функционирование церковнославянского в рамках *Slavia Orthodoxa* нередко сопоставляется с функционированием латыни в католических странах (см. об истории и параметрах этого сопоставления: Кайперт 1987). Однако отношение между автохтонными и заимствованными извне языковыми средствами в этих двух языковых ситуациях совершенно различно. Это различие объясняется в конечном счете разным способом усвоения данных языков: латынь усваивается с грамматикой и словарем, церковнославянский — с псалтырью и часословом, которые заучиваются наизусть (ср.: Толстой 1963, 259—264; Толстой 1976, 178—179). Обучение латыни в средневековой Германии или Ирландии типологически сходно с обучением иностранному языку в современной школе. Обучение церковнославянскому в славянских странах строится принципиально по-иному (по крайней мере вплоть до XVII века): ученик выучивается чтению по складам, читает и заучивает церковнославянские тексты и понимает их с помощью ресурсов своего родного языка. Характер овладения книжным языком определяет и то, какое место занимают элементы выучиваемого книжного языка в языковом опыте носителя, основой для которого служит, естественно, его разговорный язык, усваиваемый с молоком матери.

Дошедшие до нас сведения о процедурах обучения книжному языку в древней Руси фрагментарны и недостаточны, для XI–XII вв. прямые данные вообще отсутствуют. Тем не менее в данном случае можно с определенной уверенностью реконструировать соответствующие явления, опираясь на сравнительный материал и более поздние свидетельства. Основой овладения грамотой было обучение чтению по складам. Процедура этого обучения была строго регламентированной и сакрализованной¹. Она начиналась и завершалась молитвой и рассматривалась как своего рода вступление в христианскую жизнь. Особая важность правильного и внятного чтения была обусловлена тем, что несоблюдение правил чтения могло, на взгляд восточнославянских книжников, привести к еретическому заблуждению. Как указывается в «Наказани ко Ѹчителемъ, какъ имъ оучити дѣтей грамотѣ, и какъ дѣтемъ оучитиса бжественомѹ писанію и разѹмнѣію» (Предисловие к Псалтири. М., 1645): «А ѡ семъ на^м подобаетъ зѣлау прилѣжати, что бы оученикомъ спѣшнѹ не говорити, но говорити бы противѹ силы верхнаго разѹма. А ѡ спѣха разѹма оученію не боудетъ, и азыкъ оученикомъ великаа спона, паче же и бѣѹ досада, и дѹшамъ нашимъ великѣи грѣхъ... А ѡ семъ наипаче молитъ васъ наше хѹдоуміе господію нашѹ и братію, еже бы вамъ всакимъ зѣлымъ потщаніемъ наказати оучениковъ и въ началѣ часовника, перваго стиха. црю не^бныи оутѣшителю доуше истинныи, и прочаа. а не говорити и не оучити въ мѣстѹ доуше дѹшѣ, такъ же неискоуснѣи словѹ оучатъ и говорятъ, зѣлау сѣи и вельми бѣѹ въ тр^оцѣ славимомѹ бранно, такъ въ мѣстѹ дѹха сѣаго, глаголютъ доушо и невѣмы какоу. штрашно бо есть братіе не точію сѣи рещи, но и помыслити, еже въ мѣстѹ дѹха сѣаго, доушо глаголати и невѣмы какоу» (Буслаев 1861, стб. 1087–1088).

К началу XIII в. традицию обучения грамоте по складам можно считать общепринятой, о чем свидетельствуют грамоты мальчика Онфима (НБГ, № 199–210). Берестяные грамоты №№ 199, 201, 204 и 206, относящиеся к указанному времени, содержат запись складов (соответствующую тому, что мы находим в позднейших букварях) и

¹ Хорошее описание ее русского варианта находим в позднем, но вполне достоверном источнике, именно в трактате Епифания Славинецкого. Здесь говорится: «Внѣтнѹ трѣбствуетъ Ѹчѣти: сѣце. пѣрвое сложи два писмена гласное с^ѣ согласны^м и рцы, сѹкн азъ: таже сотвори препѣтїе гласомъ, илѣи ѡдохновѣніе. и рцы слогъ, ва. пакн ина два писмена совокѹпн, сѣце, вѣди азъ. и пакн содѣлан препинаніе гласа: таже рцы слогъ, ва. сѣце и триписменнымъ слагай, словолюдн азъ, и стѣни: таже рцы слогъ, сва. пакн слагай, вѣдилюдн ю. и ѡдохнѣ, рцы слогъ, влю. посѣмъ глн все реченіе кѹпнѹ, славлю, такъ и прочаа посѣмъ Ѹчи» (НРБ, Соф. 1208, л. 52–52об.; цит. по: Успенский 1970, 82). Процедура обучения явно выступает здесь как ритуализованная и строго регламентированная.

могут рассматриваться как указания на установившуюся систему начального образования, предполагавшего чтение и заучивание этих складов. За обучением чтению по складам следовало заучивание текстов наизусть, заучивались основные молитвы, а затем Псалтырь. Первое свидетельство о таком порядке обучения дают те же грамоты мальчика Онфима начала XIII в. Так, несколько фрагментов из следованной Псалтыри читаются, как установил Н.А.Мещерский (1962, 108; ср.: Зализняк 1995, 387), в НБГ № 207. Как недавно показал А.А.Зализняк (устное сообщение), Онфиму же принадлежит и НБГ № 331, которая также содержит фразы из Псалтыри. Естественно связать эти записи мальчика, учащегося грамоте, с самим процессом обучения, что и указывает на использование Псалтыри в качестве учебной книги. Прямо о порядке обучения говорится в уже цитировавшемся «Наказании ко учителю» 1645 г. («в началѣ боуква», сирѣчь азбѣцѣ. потомъ же часовники и псалтыри, и прочіа бжественныа книги»), а на полтора века ранее в послании новгородского архиепископа Геннадия к митрополиту Симону (АИ, I, № 104, 148; ср. Употребление книги Псалтырь 1857, 816–817).

Заучиванием наизусть Псалтыри, насколько можно судить, элементарное образование завершалось. Действительно, у нас нет никаких свидетельств о том, что при обучении использовались какие-либо грамматики, словари или пособия по риторике: в восточнославянской письменности древнейшего периода такие тексты полностью отсутствуют. Процедуры обучения, включавшие обращение к грамматике, появляются в Московской Руси не ранее XVII в. и еще в начале XVIII в. воспринимаются как новшество. Ф.Поликарпов в своем издании грамматики Смотрицкого 1721 г. говорит о том, что «...издревле Россійскимъ дѣтководцемъ и оучителемъ обычай бѣ и есть, оучити дѣти малыа, в началѣ азбѣцѣ, по томъ часословцѣ и псалтири, таже писати, по сихъже нѣщын преподаю^т и чтеніе ап^л. Возрастающихъ же препровождаютъ ко чтенію и сщ^ненныа свѣдѣн^і, и бесѣдъ е^ванг^лскихъ и ап^лскихъ, и к разсѣжденію высокаго во оныхъ книгахъ лежащаго разсѣмѣн^і. А истаго на таковое разсѣженіе орѣд^іа [еже есть грамматіка] онымъ на предѣ не показѣютъ, по чѣмъ бы всякое реченіе и періодъ, и все слово разбирати, и в^с подобающій чинъ располагати, и крѣмѣю в^с немъ силъ разсѣма рассѣждати» (Смотрицкий 1721, Предисл., л. 2об.). Традиционный тип образования явно не устраивает Поликарпова, поскольку он не содержит механизма понимания («разумения») выучиваемых текстов. Такой механизм создает грамматика, и именно стремление внедрить его в образование побуждает Поликарпова предпринять цитируемое издание; в том же предисловии говорится: «По изс^вченіи же часослова и псалтири [ихъже вставити не могътъ] оная грамматіка с толкованіемъ,

сирѣчь съ показаніемъ и оупотребленіемъ ея пожитковъ да наставлятъ» (там же, Предисл., л. 5)².

При данной системе обучения новые тексты понимаются за счет опыта, полученного при чтении предшествующих текстов, т.е. в конечном счете — когда этот опыт возводится к первым освоенным книжным текстам — за счет ресурсов живого языка. На основе этих же, выработанных в процессе чтения навыков, создаются и оригинальные тексты. Если попытаться проанализировать эти навыки и представить их как действующие механизмы, обеспечивающие понимание и порождение новых текстов, то следует, видимо, выделить по крайней мере два относительно автономных механизма: (а) механизм признаков книжности или механизм пересчета и (б) механизм ориентации на тексты.

Механизм признаков книжности основан на том, что отдельные элементы книжного текста понимаются посредством соотнесения их с элементами живого языка. Естественно думать, что для понимания книжного текста обучающемуся нет необходимости устанавливать сплошные соответствия между элементами, отсутствующими в его разговорном узусе, и более или менее синонимичными им элементами, взятыми из этого узуса, — тем более что для множества элементов (например, абстрактной лексики) такого рода соответствия и не могут быть установлены. Соотнесение нужно лишь для многократно повторяющихся элементов, которые образуют структурную основу высказывания. Устанавливаемые соответствия могут не быть однозначными — в тех случаях, когда набор категорий живого языка отличается от набора категорий книжного языка. В этих случаях возможно и наложение грамматической семантики живого языка на формальные оппозиции, присутствующие в книжном тексте.

При активном владении, т.е. при порождении текста этот механизм будет обуславливать обратную замену некнижных форм на книжные, например, *л*-формы на формы простых претеритов. По-

² Впрочем, новая система образования и в XVII–XVIII вв. имеет лишь ограниченное распространение и опирается как на первичную основу, формирующую языковое сознание, на традиционные процедуры. В своих воспоминаниях, относящихся ко второй трети XVIII в., Платон Левшин рассказывает о своем первоначальном обучении: «На шестом году от рождения начали Петра обучать грамоте: азбуке, часослову и псалтири; а потом писать; каковый общий тогда был обучения порядок для всех, всякаго состояния отроков» (Платон Левшин 1891, 204). Надо иметь в виду при этом, что Платон родился и обучался в Москве, а его отцом был относительно образованный и преуспевающий священник. Очевидно, что традиционный порядок образования оставался практически единственным и для других социальных групп.

нятно, что этот механизм будет работать прежде всего там и тогда, когда автору нужно сказать что-то новое, т.е. такое, что он еще не читал (в том или ином виде) много раз. И в этом случае, конечно, механизм пересчета будет касаться лишь отдельных элементов, тех, с которыми возникают трудности и которые вместе с тем поддаются пересчету, т.е. находят себе формальное соответствие в некнижном языке. Такое соответствие может быть установлено между претеритными формами книжного и некнижного языка, между книжными причастиями в функции присоединенного предиката и некнижными деепричастиями и т.д.

Механизм ориентации на тексты имеет, видимо, еще большее значение, чем механизм пересчета. Он обуславливает воспроизведение готовых фрагментов текста, форм и конструкций, известных пишущему из того корпуса текстов, который он помнит наизусть. Нужно думать, что, когда носителем выучен наизусть большой корпус текстов (такой, например, как Псалтырь), это существенно сказывается на его культурном и языковом сознании; оно отличается от того, которое присуще нам в силу нашей принадлежности культуре нового времени, и непосредственно влияет на характер его (носителя) языковой деятельности. У носителя появляются готовые блоки описания ситуаций, действий и переживаний, которые автоматически воспроизводятся, когда он следует установке на книжное изложение и вместе с тем пишет о том, что в том или ином виде уже трактовалось в выученных им текстах. В этом случае в наиболее эксплицитном виде реализуется власть образовательных институций, формирующих стоящий над индивидом дискурс, который служит ему потом всю жизнь; индивидуальное сознание поглощается в этом процессе доминирующей ментальной традицией.

Данный процесс может восприниматься как религиозно (культурно) значимый, превращающий обучение грамоте в полноценную индоктринацию. Этот формирующий сознание характер обучения книжному языку, связанный с заучиванием наизусть корпуса религиозных текстов, мог, видимо, быть достаточно ясным для современников — во всяком случае в тот период, когда начали возникать альтернативы данной системе обучения. Так, в проекте устройства училищ, предложенном в Екатерининской Комиссии по составлению уложения в конце 1760-х годов, предполагалось изменить систему начального образования и учить грамоте «то по церковным книгам, то по гражданским законам». Это предполагало изучение гражданской азбуки наряду с изучением церковной. В течение всего XVIII в. в основном учились церковной азбуке, тогда как обучение гражданской было дополнительным и распространялось лишь на небольшие социальные

группы (см. § IV-2.2). Цитируемый проект (не осуществившийся) был попыткой изменить это положение. Обосновывая целесообразность обучения «по гражданским законам», авторы проекта напоминали, что из заучивания наизусть Псалтыри «происходит, что мы в обыкновенных разговорах иное одобряем, иное хулим целыми стихами из псаломника; откуда же произойдет, что мы при всяком деянии тотчас следствия онаго видеть будем» (Сухомлинов, I, с. 78). Таким образом, индоктринацию религиозную предполагалось соединить с индоктринацией правовой: прошедший обучение должен был бы, по мысли авторов проекта, так же автоматически вспоминать карающие преступления законы, как он вспоминает при оценке жизненных ситуаций формулировки Псалтыри. Секуляризованная власть рядом с религиозным дискурсом пыталась создать — используя известные ей и вполне, как видим, осознанные ею механизмы — дискурс государственный.

При таком обучении память носителя может, видимо, генерировать не только фрагменты текста, описывающие какую-либо ситуацию, но и более мелкие текстовые элементы — вплоть до отдельных форм и конструкций. Выученные наизусть тексты создают запас образцов, которые могут воспроизводиться, когда эти образцы оказываются как-либо активированными (в обычном случае — мотивикой создаваемого текста). Два описанных механизма — механизм пересчета и механизм ориентации на тексты — сосуществуют и действуют одновременно при создании новых текстов. Понятно, что механизм пересчета будет работать в тех случаях, когда по каким-либо причинам выученные образцы не активируются. Наиболее простой причиной для этого может служить такая ситуация, когда автор не находит в образцах готового лингвистического материала для фразы, которую он хочет породить — например, в силу содержания этой фразы, выходящего за рамки тех смысловых блоков, которые представлены в образцах.

Различия в соотношении механизма ориентации на образцы и механизма пересчета позволяют объяснить генезис разных регистров книжного языка. Если употребляется лишь механизм ориентации на образцы, результатом будет стандартный церковнославянский текст, не отличающийся по своим существенным характеристикам от воспроизводимых текстов Св. Писания и богослужения, т.е. основного корпуса книжных текстов. Такого рода язык находим, например, в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона или в русских дополнениях в служебных минеях. Тексты этого рода создают свою традицию, в рамках которой появляются затем новые тексты, обладающие сходной функцией в системе книжной письменности. Если доминирующее значение получает механизм пересчета, результатом

оказывается гибридный церковнославянский текст (см. Живов 1988, 54-63), также ориентированный на основной корпус книжных текстов, но отличающийся от него по ряду лингвистических характеристик. И этого рода тексты создают свою традицию, к которой позднее примыкают новые и новые тексты. Поскольку необходимость в интенсивном применении механизма пересчета возникает в силу нестандартности (по отношению к духовной литературе) содержания, возникновение этой традиции связано, видимо, с развитием летописания.

Действие рассмотренных механизмов и определяет функциональные различия регистров книжного и регистров некнижного языка, т.е. — в традиционных терминах — русского и церковнославянского языков. Эти два языка отличает то, на чем сосредоточивается внимание носителей, т.е. то, с чем у них возникают трудности, обусловленные неоднозначным соотношением книжного языка с разговорным. Этот ограниченный набор элементов, требующих специального внимания, и является признаками книжности, поскольку выступает в языковом сознании как примета книжного языка, тогда как другие языковые элементы в этом плане нерелевантны. Например, согласование действительных причастий, отсутствующих в некнижном языке, может наталкиваться на трудности: и при переписке, потому что писцу неясно, правильная ли употреблена форма, и при порождении нового текста, потому что автору неясно, какую форму надо употребить. Вместе с тем другие моменты для него незначимы, например, неполногласные или полногласные формы не требуют проверки при переписке, а при порождении выбор формы зависит от многочисленных частных факторов, не имеющих отношения к оппозиции книжного и некнижного языка.

Исходным материалом для функциональной дифференциации языковых элементов служила их генетическая разнородность, возникающая в силу усвоения инославянской книжной традиции. Судьба различных элементов, генетически противопоставленных как инославянские — восточнославянские, могла быть при этом различной. В одних случаях имела место адаптация, т.е. усвоение восточнославянского элемента (элемента одного из восточнославянских диалектов) нормой русского извода церковнославянского с одновременным вытеснением соответствующего ему элемента инославянского происхождения. В других случаях результатом было становление признака книжности, когда инославянский элемент сохранялся нормой русского извода и переосмыслился как специфический признак книжного характера текста. В третьих случаях, наконец, оппозиция инославянского и восточнославянского оказывалась источником вариативности: оппозиция

нейтрализовалась, и оба элемента, образовавшие ее, становились в книжном языке восточных славян допустимыми вариантами.

Адаптация имеет место прежде всего на уровне орфографии и словоизменения. Именно орфографические и морфологические нормы наиболее четким образом противопоставляют различные локальные изводы церковнославянского, тогда как в области лексики и синтаксиса границы нормативного являются размытыми; здесь действуют навыки книжного изложения, в значительной степени общие для всех изводов и вместе с тем не соотносящиеся с разговорным узусом. Орфографическая и морфологическая адаптация и идущее отсюда формирование локальных норм именно на данных уровнях мотивировалось самим процессом распространения славянской книжности. Рукописи переходили из одной славянской области в другую и здесь переписывались и редактировались. Сосуществование рукописей разных изводов и недоверие к оригиналам создавали для каждой локальной традиции стимул к унификации орфографических и морфологических характеристик. Основой для унификации были правила, позволявшие получить «правильную» форму, используя доступную переписчику лингвистическую информацию. Такую информацию давало книжное произношение, установившееся в результате богослужебного употребления усвоенных текстов и исключавшее, как правило, звуки и звуко-сочетания, чуждые произношению разговорному, и факты живого языка, которые могли служить для проверки книжных форм (ср.: Дурново 1933; Лант 1950; Живов 1984; Живов 1986а). Само использование правил данного типа обуславливало адаптацию церковнославянского языка, ставя книжные формы в зависимость от форм живого языка и приспособлявая одни к другим: традиционные формы, шедшие из инославянской письменности, закреплялись лишь в тех случаях, когда они совпадали с местными или могли быть соотнесены с ними с помощью простых правил.

Функциональное переосмысление генетически разнородных элементов осуществлялось и благодаря механизму пересчета: оппозиция инославянских и восточнославянских элементов преобразуется в противопоставление элементов книжных и некнижных, причем элементы книжные уже не воспринимаются как чужеродные. Такое восприятие отражало характер употребления книжных элементов, образуемых механизмом пересчета: они не только противопоставляли книжный и некнижный языки, но и соотносили их. Действительно, грамматическая семантика книжного языка, запечатленного в корпусе переписываемых и перечитываемых основных текстов, ни для одной из славянских областей не находилась в однозначном соответствии с грамматической семантикой живого языка; и по мере развития жи-

вых языков несоответствие здесь лишь увеличивалось. Поэтому порождение книжных текстов на основе механизма пересчета не приводило к созданию текстов, полностью аналогичных в своей грамматической системе текстам основного корпуса. Степень приближения зависела от индивидуального мастерства отдельных книжников (в частности, от их владения основным корпусом текстов), но она никогда не была абсолютной. В результате оригинальные книжные тексты в большей или меньшей степени отражали особенности грамматической семантики живого языка³.

Те процессы переосмысления генетически разнородных элементов, о которых шла речь выше, связаны с прямым соотношением характеристик двух исходных языковых систем. Различие состоит в том, что в случае адаптации генетически восточнославянские элементы вытесняют генетически инославянские из нормы восточнославянского извода, а в случае установления механизма пересчета генетически инославянские элементы сохраняются, выступая как книжный эквивалент определенных форм или конструкций некнижного языка. Подобное прямое соотношение оказывается возможным (или доступным), однако, отнюдь не во всех случаях. При отсутствии прямого соотношения генетически разнородные элементы функционируют в книжном языке как допустимые варианты; и в этом случае генетические характеристики теряют свое значение, будучи переосмыслены в функциональном плане как явление вариативности.

Прямое соотношение устанавливается, как уже говорилось, с помощью общих правил. Там, где общие правила не формулировались, не возникало и оснований для устранения одного из элементов (генетически восточнославянского или генетически инославянского). При этом регулярное историко-фонетическое соответствие не могло служить основанием для формулировки общего правила. Такие соответствия для древнерусского книжника реальностью не были, он имел дело с языковым материалом своего родного диалекта, где имелась, например, последовательность /го/ или /ло/ в начале слова, но

³Так, например, после исчезновения имперфекта из живых восточнославянских диалектов форма имперфекта в книжном языке может соотноситься с итеративными или имперфективными образованиями некнижного языка, и результат этого соотношения отражается в характере его употребления в оригинальных восточнославянских текстах, отступающих от образцов основного корпуса (Св. Писания и богослужения), особенно в текстах сравнительно поздних (например, в житиях или летописях XV–XVI вв.) (ср.: Живов 1986, 102–111).

лекта, где имелась, например, последовательность /го/ или /ло/ в начале слова, но стояла ли она «на месте праслав. *or», он был выяснить не в состоянии. В одних случаях эти последовательности соотносились с начальным *ра-* или *ла-* в известных ему книжных текстах, тогда как в других случаях те же последовательности живого языка оказывались соотнесены с книжными *ро-*, *ло-* (ср. *родити*, *роса*, *лобъзати*, *ловити*). Поэтому в его арсенале не могло быть правила типа «там, где в разговорном языке в начале слова слышится /го/, /ло/, в книжном языке пишется *ра-*, *ла-*». Отсутствие правила обуславливало отсутствие четкой нормы, и поэтому *работа* и *робота*, *лакѣть* и *локѣть* оказывались сосуществующими допустимыми вариантами. Ничем по существу не отличается от этих случаев ситуация с полногласными и неполногласными лексемами. Писец имел дело со своей разговорной последовательностью типа /ого/, которая в одних случаях соответствовала книжному *ра-* (например, *порогъ* — *прагъ*), а в других случаях не соответствовала (например, *порокъ* ‘vitium’, но не **пракъ*). И в этом случае закономерным следствием отсутствия общего правила является вариативность полногласных и неполногласных форм. В переписываемых памятниках вариативность подобных элементов могла проявляться лишь окказионально. При создании же оригинальных текстов отсутствие общего правила, соотносящего книжные и некнижные элементы, сказывалась более существенно, так что вариативность становилась конститутивной характеристикой для текстов, формировавших гибридный регистр книжного языка.

Итак, по мере развития книжной традиции на Руси происходит переосмысление генетически разнородных элементов. В составе восточнославянского извода церковнославянского языка эти элементы образуют своеобразный сплав, составляющие которого не противопоставляются как «свое» и «чужое», а создают множественность языкового употребления, из которой затем формируются различные письменные традиции. В одних случаях восточнославянские элементы вытесняют инославянские из нормы книжного языка, в других — они оказываются соотнесены с ними и формируют оппозицию книжного и некнижного, в третьих — восточнославянские и инославянские элементы становятся допустимыми вариантами. Во всех этих случаях генетические категории сменяются функциональными. Этот же механизм работает и в дальнейшем, когда по мере развития живого языка появляются

ся новые различия между книжным и некнижным узусом⁴. Они также вызывают процесс адаптации (например, приспособление книжного письма к результатам падения и прояснения редуцированных — ср.: Зализняк 1986, 100; Живов 1984, 262–263) или переосмысляются как признаки книжности (например, формы дв. числа) или допустимые варианты (например, флексии род. ед. муж. и ср. рода *-аго/-ого* в склонении членных прилагательных).

Переосмысление генетически разнородных элементов в функциональных категориях сказывается на характере языкового сознания. Книжный язык воспринимается не как чужое наречие, существующее вне зависимости от родного языка (в отличие, скажем, от латыни в славяноязычных странах), но как культивированная разновидность родного языка. Владение книжным языком накладывается на естественные речевые навыки, соединяется с ними, образуя сложный конгломерат речевых навыков письменного языка, конкретный состав которых зависит как от социально-культурного статуса пишущего, так и от типа письменных текстов, которые он обычно производит (понятно, что это взаимосвязанные явления). Разные письменные навыки, получаемые прежде всего в результате чтения, образуют разные письменные традиции, имеющие неодинаковую культурную (и религиозную) значимость. Языковые явления, характерные для каждой из письменных традиций (регистров), получают ту же культурную значимость, что и традиция в целом, и это в существенной мере определяет их судьбу при построении литературного языка нового типа.

⁴Особенно интенсивно новые противопоставления формируются после окончательного распада общеславянского языкового единства в конце XII века (см.: Дурново 1931). Активное изменение живого языка в этот период привело к существенному распадению книжного и живого языка и вызвало новую серию процессов функционального переосмысления, отмечающих новый период в истории книжного языка. Вместе с тем новые оппозиции расширяли диапазон выбора, доступного для восточнославянского книжника, в соответствии с этим возрастали возможности вычленения отдельных относительно независимых письменных традиций: одни из них (например, гимнологическая) могли в большей степени сопротивляться изменениям в узусе, нежели другие (например, агиографическая).

3. Основные регистры книжного языка и процессы их формирования

В письменном языке средневековой Руси в качестве основного членения выделяются книжные и некнижные тексты. Книжные тексты характеризуются прежде всего логически упорядоченным и риторически организованным синтаксисом и употреблением признаков книжности (таких, например, как формы имперфекта или согласованные причастия в деепричастной функции); синтаксис некнижных текстов ориентирован на коммуникативную ситуацию (на то, что известно или не известно адресату), так что актуальное членение играет в нем существенно большую роль, чем логическое развертывание, а признаки книжности не употребляются (за исключением, видимо, отдельных употреблений в клишированных формулах). Однако одно лишь членение на книжный и некнижный языки для описания языковой ситуации средневековой Руси недостаточно, поскольку и книжные, и некнижные тексты оказываются слишком разнородны по своим лингвистическим характеристикам, чтобы их можно было трактовать как противопоставленные друг другу единства. Это одно из обстоятельств, которое не позволяет описывать языковую ситуацию у восточных славян по модели диглоссии, как она вырисовывается, например, из сосуществования классического арабского и живых арабских языков⁵.

В рамках книжного языка выделяется по крайней мере два регистра, один из которых может быть назван стандартным, а другой гибридным. Стандартный регистр реализуется в первую очередь в текстах основного корпуса, т.е. Св. Писания и богослужения; наибольшее значение среди текстов основного корпуса имели те, которые выучивались наизусть. Существенная часть стандартных книжных текстов была по происхождению инославянской, в частности и тексты основного корпуса, на который непосредственно ориентировалась вся данная письменная традиция. Тексты инославянского происхождения адаптировались на восточнославянской почве на орфографическом и морфологическом уровнях, но в своем синтаксическом построении

⁵ Кажется, впрочем, что и в арабской языковой ситуации членение на «высокий» и «низкий» язык не проводится столь однозначно, как можно заключить из классических описаний арабской диглоссии (см.: Фергусон 1959). И здесь имеются тексты, существенно отклоняющиеся от книжного языкового стандарта (Талмоуди 1984); остается, однако, неясным, образуют ли они особую традицию.

и грамматической структуре сколько-нибудь сильного влияния некнижного языка восточных славян не испытывали. Те оригинальные восточнославянские произведения, которые создавались преимущественно с помощью механизма ориентации на тексты, также относились к этому регистру. Наиболее наглядной иллюстрацией могут служить здесь уже упоминавшиеся восточнославянские дополнения к служебным минеям, не отличающиеся по своим языковым характеристикам от основной части, перешедшей от южных славян.

Гибридный регистр реализуется в оригинальных восточнославянских текстах (т.е. текстах, созданных восточнославянскими книжниками; они могут представлять собой, естественно, перевод с греческого, латыни или какого-либо иного языка). Если создание текстов стандартного регистра обеспечивалось преимущественно механизмом ориентации на тексты, то в порождении текстов гибридного регистра главную роль играл механизм пересчета. Механизм пересчета создает возможность для особой языковой установки пишущих, когда их целью оказывается не максимальное сближение языка новых сочинений с языком корпуса основных текстов, а условное тождество этих языков по ряду формальных показателей. Понятно, что при подобной установке самый набор релевантных формальных признаков имеет лишь относительную значимость и может быть сведен к минимуму: в него входят прежде всего те характеристики, которые с наибольшей наглядностью отличают книжный язык от некнижного. В силу этого набор признаков, по которым ведется пересчет, оказывается ограниченным и избирательным. Вместе с тем избирательным оказывается и употребление тех формальных признаков, которые входят в данный набор: поскольку эти признаки выступают прежде всего как индикаторы книжного характера текста, они могут употребляться непоследовательно и даже окказионально — индикатором служит само их наличие, а интенсивность употребления зависит от разнообразных частных факторов.

Поскольку употребление признаков книжности приобретает в подобной разновидности сигнальный характер, открывается широкая возможность влияния некнижного языка на книжный. Выделение специально книжных элементов в языковом сознании носит целиком функциональный характер, процесс функционального переосмысления генетической разнородности доведен здесь до своего логического предела. При отсутствии непосредственной ориентации на тексты основного корпуса и грамматической кодификации широко развивается вариативность и в создаваемые тексты свободно проникают некнижные по происхождению элементы. Таким образом, в данном регистре книжного языка книжные и некнижные элементы синтези-

рованы в единой системе, так что самый вопрос (обсуждавшийся многократно и без сколько-нибудь заметного успеха — ср.: Виноградов 1958; Виноградов 1978, 65–151) о языковой основе соответствующих текстов — традиционно книжной или народно-разговорной — оказывается лишен всякого содержания. И та, и другая основа может быть выделена в качестве частного момента, но лишь их совокупность и взаимодействие обеспечивают функционирование данной разновидности. В этой связи как раз и представляется целесообразным именовать данный регистр книжного языка гибридным.

Складывающийся в рамках гибридного регистра узус зависит фундаментальным образом от соотношения книжного и некнижного языков, поскольку признаки книжности — это то, что отличает два данных языка в языковом сознании носителей. В силу того что стандарт книжного языка задан образцовыми церковнославянскими текстами и по большинству параметров остается неизменным на протяжении веков, состав признаков книжности и изменения в этом составе обусловлены особенностями некнижного языка. Так, в русской традиции, как она представлена в текстах XV–XVII вв., в состав признаков книжности входят простые претериты, действительные причастия и вообще согласованные причастия в деепричастной функции, формы дв. числа, оборот дательного самостоятельного и т.д. Изменения в некнижном языке влияют на конституцию гибридного регистра. Дв. число, например, приобретает статус признака книжности лишь после того, естественно, как оно исчезает из языка некнижного⁶.

Указанная фундаментальная зависимость определяет, однако, лишь основные контуры, а не детали. Детали вырабатываются в силу

⁶ Гибридный регистр, будучи закономерным следствием функционирования механизма пересчета, свойствен не только письменному языку восточных славян, но и славян южных (аналогичные явления присутствуют несомненно и в других языковых ареалах, однако от подобных общих проблем мы можем сейчас отвлечься). Набор признаков книжности, однако, всякий раз специфичен, и именно в этой специфике отчетливо проявляется зависимость конституции гибридного регистра от особенностей некнижного языка. Болгары, естественно, не воспринимали формы простых претеритов как специфику книжного языка, и поэтому в рамках болгарской традиции они в состав признаков книжности не попадали. Для болгарской традиции в набор признаков книжности входили падежные формы существительных и прилагательных, отсутствие члена, инфинитив на *-ти*, простое будущее, синтетические формы степеней сравнения и т.д. Формирование этого набора осуществлялось по мере того, как данные признаки становились чуждыми живым болгарским говорам. Как можно видеть, сходные механизмы порождения книжных текстов дают в разных славянских традициях существенно разные результаты, что в конечном счете обусловлено различиями живых языков.

преемственности узуса, в силу того что книжник, создающий гибридный текст, непосредственно обращается не к своему разговорному языку, а к общей совокупности своего языкового опыта, в формировании которого чтение (т.е. освоение прежде созданных письменных текстов) играет никак не меньшую роль, чем спонтанная речь. Славянская филология длительное время игнорировала гибридные языки именно потому, что все внимание исследователей сосредоточивалось на соотношении книжного и разговорного языка, причем органическая системность приписывалась исключительно последнему. Абсолютизировавшаяся при этом дихотомия природы и культуры, превращенная в основной миф еще младограмматиками и дожившая в этом священном качестве чуть ли не до наших дней благодаря усилиям структурализма и структуралистской семиотики, приводила к отрицанию «природных» явлений в письменном языке, воспринимавшемся как феномен культуры *par excellence*. В соответствии с данной дихотомией строилась, с одной стороны, история книжного (церковнославянского) языка как языка целиком искусственного (при этом рассматривался преимущественно стандартный регистр), а с другой — история живого языка как языка целиком естественного. Между этими двумя полюсами оставался хаос, вызывавший лишь желание от него отвернуться, гибридные тексты воспринимались как нагромождение разнородных элементов. Однако же, если мы приписываем письменному узусу ту же естественную преемственность, реализуемую как превращение навыков чтения в навыки письма, что и узусу устному, гибридный регистр предстает, по словам Р. Матиецена, не как «a mere conglomerate of heterogeneous elements, but a secondary linguistic system in its own right» (Матиецен 1984, 47)⁷.

Преемственность навыков письма объясняет, каким образом формируется относительно устойчивый и относительно автономный узус гибридного регистра. Не только отбор релевантных для книжного языка признаков (признаков книжности) и восприятие ряда различий между стандартным книжным языком и языком некнижным как нерелевантных не является индивидуальным решением каждого из авторов, но и характер употребления отдельных элементов преемственно воспроизводится одним поколением книжников за другим, переживая

⁷ Впрочем, эпитет «secondary», на мой взгляд, здесь совершенно излишен и является данью той господствующей линии лингвистической мысли, идущей от младограмматиков к структуралистам, для которой письмо всегда является вторичным, искусственным, а потому требующим устранения связанных с ним феноменов из собственно лингвистического исследования (ср.: Деррида 1967; Деррида 1968).

лишь постепенные и «органические» (с точки зрения отвергнутой нами оппозиции природы и культуры) изменения. Анализ гетерогенных по языку гибридных текстов (прежде всего летописей) показывает, что те части, которые книжник воспроизводит, основываясь на удаленных от него по времени источниках, и те части, которые он пишет самостоятельно, связаны непрерывной цепью связующих звеньев, указывающих на постепенность эволюции узуса (ср.: Живов 1995а; Петрухин 1996).

Эта эволюция совершается благодаря постоянно происходящей семантической реинтерпретации. Поскольку освоение предшествующей книжной традиции осуществлялось без грамматик и словарей, чтение предполагало интерпретацию лингвистического материала в тех семантических категориях, которые были автору доступны (прежде всего из его языкового опыта, связанного с разговорным языком). Стремясь сохранить формальные элементы, характерные для корпуса существующей книжности, автор делал это в меру своих возможностей, употребляя эти элементы в том значении, которое он выводил из усвоенных им примеров. Понятно, что такое употребление могло существенно отличаться от исходного, имевшего место в усвоенных текстах. Степень отличия определялась, видимо, двумя моментами: во-первых, степенью несходства (по тому или иному конкретному параметру) языка этих текстов с разговорным языком автора, во-вторых, индивидуальными возможностями автора, т. е. его начитанностью, языковым чутьем и стремлением воспроизвести узус своих предшественников лишь в общих чертах или относительно детально. Способ трансмиссии языковых навыков от поколения к поколению не отличается здесь по своему устройству от того, который наблюдается в устном (живом) языке и выступает как эталон «естественности» для ориентированного на «природу» языкознания.

Хорошей иллюстрацией может служить эволюция употребления перфекта в Лаврентьевской летописи, прекрасно проанализированная в недавней работе Э.Кленин (1993). Согласно ее наблюдениям, перфект и аорист перераспределяют свои функции постепенно. Исходно перфект употребляется в результативном значении (которое может относиться как к плану настоящего, так и к плану прошлого), аорист же выступает как основное нарративное время. Уже в древнейшей части летописи («Повести временных лет») появляются редкие примеры (именно, два), когда перфект употреблен в повествовательных фрагментах, в обоих примерах, однако, не в изложении последовательных действий, а при обозначении изолированных событий. В части, относящейся к XII в., это последнее употребление получает более широкое распространение, перфект употребляется в комментирующих фраг-

ментах, при указании на изолированные действия или при разрывах нарративной последовательности. Лишь в последней части летописи появляются единичные примеры перфекта в описании последовательности действий (*л*-формы чередуются при этом с обычным для данного контекста аористом).

Поскольку подобная эволюция выглядит «естественной», Э.Кленин интерпретирует эти данные как свидетельство изменений в живом языке, при которых расширяются функции перфекта, постепенно (от одной функции к другой) вытесняющего из употребления аорист. Такая интерпретация соответствует традиционным представлениям о том, что «естественность» и «системность» присущи исключительно живому языку, тогда как в книжном языке любые изменения, если только они не являются полностью искусственными, носят «вторичный» характер. С тем же успехом, однако, можно думать, что расширение сферы употребления перфекта происходит за счет реинтерпретации, при которой позднейший летописец всякий раз опирается на прецеденты, встреченные у своего предшественника, но придает им более общее значение: результатив воспринимается как любое ненарративное употребление, ненарративное употребление понимается затем как категория, приложимая к любому действию, упоминаемому вне строгой нарративной последовательности и т.д. Стимул к такой интерпретации действительно, видимо, идет из разговорного языка, в котором употребление перфекта отличается (скажем, в XIV в.) от того, которое поздний летописец находит в своих более ранних источниках, однако воздействие имеет здесь опосредствованный характер и отнюдь не сводится к простому отражению в книжном тексте процессов, происходящих в не книжном языке⁸.

⁸ Реинтерпретация, понятно, может менять статус затрагиваемых ею вариантов, постепенно превращая окказиональные отступления в постоянную черту узуса. Так, например, Ф.Оттен, анализируя Степенную книгу (Оттен 1973, 218), указывает, что непоследовательности в образовании имперфекта от глаголов четвертого класса (с *l*-epentheticum или без него) существенно чаще встречаются в последних двух частях летописи, нежели в начале. Можно полагать, что окказиональные варианты в древних летописных сводах (ср. о них: Хабургаев 1991) трактуются автором XVI в. как прецеденты, узаконивающие более удобный для него узус, при котором он может, не задумываясь, образовывать форму имперфекта от привычной ему *л*-формы. Выразительный пример того, как реинтерпретация прецедента используется летописцем, чтобы избежать трудностей в образовании тех или иных форм, находим в Царственной книге конца XVI в. (ПСРЛ, XIII, 506) в описании осады Казани (новейший слой летописи). Здесь читаем: «И много розни въ городъ сотвориша: овїи хотяху за неизможенїе бити челомъ государю нашему; инїи измѣнники воду начаша копати и не обрѣтоша, но токмо малъ потокъ докопашася смраденъ, и

Отличия в эволюции книжного языка по сравнению с языком разговорным появляются в силу того, что исходным пунктом оказывается не речь старшего поколения, как это имеет место в случае разговорного языка, а корпус (прочитанных) текстов, разных по времени возникновения; этот корпус как бы суммирует языковые навыки многих поколений и обуславливает консервативность в динамике книжного узуса сравнительно с узусом разговорного языка. Вместе с тем эта соотнесенность с обширным и разновременным корпусом текстов делает гибридный язык достаточно неоднородным — во всяком случае с точки зрения того эталона однородности, который внедрен в наше сознание литературными языками нового типа. Книжник может в большей или меньшей степени адаптировать освоенный им узус к своим разговорным речевым навыкам, может ориентировать создаваемый им текст на более или менее архаические слои освоенного им корпуса, даже не следуя при этом особой архаизирующей или модернизирующей установке. При таком положении вещей одни тексты гибридного регистра могут радикально отличаться от стандартных книжных текстов, тогда как другие достаточно близко подходить к ним по многим своим языковым характеристикам.

Как уже говорилось, основополагающее различие между стандартным и гибридным регистрами определяется тем, в каком отношении находились в них механизм ориентации на образцы и механизм пересчета. Понятно, что граница между двумя этими регистрами остается нечеткой, особенно в тот более ранний период, когда дистанция между книжным и некнижным языками еще не возросла до такой степени, что за целым рядом характеристик книжного языка закрепился безусловный статус признаков книжности. Поскольку преемственность в книжном языке осуществляется за счет трансформации навыков чтения в навыки письма, ее конкретные параметры оказываются в зависимости не только от лингвистической, но и от литературной истории. Непосредственным ориентиром для книжника и источником используемых им трафаретов (templates) оказывается не столько весь корпус прочитанной им литературы, сколько тексты того же «жанра»,

до взятїя взимаху воду с нужною, от тое же воды болѣзнь бяше въ нихъ, пухли и умираху съ нее». Летописец, видимо, испытывал трудности при образовании формы имперфекта от глагола *пухнути*, которую он явно не мог почерпнуть из письменной традиции, и поэтому предпочел употребить сочетание *л*-формы и имперфекта в качестве однородных членов (*пухли и умираху*). Такая свобода была результатом переинтерпретации письменной традиции, в которой подобные словосочетания порою встречались. Именно такая реинтерпретация и использование полученных в результате ее возможностей приводит к эволюции письменной традиции.

что и создаваемый им. Поэтому летописи находятся в преемственной зависимости от летописей, гимнографические произведения — от гимнографических произведений и т.д.⁹ И в литературной истории работает, естественно, механизм переосмысления, так что летописи могут быть восприняты не только как анналистический памятник, но и как нарративный текст в более общем понимании, поэтому летопись может оказаться ориентиром не только для летописи, а для любого повествования (например, житийного или — в XVII в. — новеллистического). Разветвленная преемственность была обусловлена здесь развитием литературного процесса, так что история книжного языка оказывается в данном аспекте теснейшим образом связана с историей словесности и, в частности, с ее социальным аспектом.

Условия литературной деятельности несомненно существенно менялись на протяжении веков, и хотя социальный состав, численность и спецификация занятий той малой части средневекового общества, которую можно рассматривать как аналог литературной публики нового времени (потребляющие и создающие книжную продукцию), недостаточно изучены прежде всего из-за недостатка данных, эти параметры явно не оставались без перемен с XI по XVII век (равно как, скажем, и с XIII по XVI). В Московской Руси XVI в. вряд ли могла появиться такая фигура, как пономарь Тимофей, занимавшийся в Новгороде XIII в. и перепиской церковных книг, и ведением летописи, и составлением договорных грамот (см.: Гиппиус 1992). К XVI в. книжная деятельность становится, видимо, более дифференцированной, так что каждое из перечисленных занятий соотносится (пускай и не очень однозначно) с определенным кругом лиц, более или менее профессионально к ним подготовленных (речь не идет, конечно, о профессиональной подготовке в нынешнем ее понимании). При такой дифференциации расчлененным оказывается и круг чтения потенциальных авторов, а соответственно также объем и характер их языкового опыта, возникающего при освоении корпуса книжных текстов.

Подобное расчленение должно было приводить к консолидации различных регистров письменного языка. Понятно, что мы имеем здесь дело не с одномоментным, а с постепенным процессом, что ис-

⁹ О понятии трафарета (template) и о роли трафаретов в реинтерпретации данных языкового опыта носителя см.: Никольс и Тимберлейк 1991; Тимберлейк 1996. О коррективках, необходимых при использовании понятия «жанра» в истории литератур восточнославянского средневековья, см.: Ленхофф 1984; Зеemann 1987; Марти 1989. О «жанровом» факторе в истории славянских литературных языков: Толстой 1978; Алексеев 1987а, 44–45.

ключает точную датировку и делает вообще всякую датировку достаточно условной. Определенно можно сказать, что в XVI–XVII вв. складывается особая разновидность (регистр) книжного языка, обнаруживающая особую языковую установку пишущих и образующая собственную традицию. Монах, составлявший канон новопрославленному святому, ощущал себя, видимо, в иной литературной и языковой традиции, нежели работник патриаршего летописного скриптория (типа Исидора Сказкина, составившего Мазуринскую летопись — см.: Корецкий 1968), а этот последний не чувствовал себя свободно в той традиции, которую освоил подьячий, готовивший ответы на челобитные. В результате консолидации письменных традиций они могут выступать как относительно автономные системы, так что становится возможной переделка текста из одного регистра в другой. Примером такой переделки может служить переработка жития Михаила Клопского, осуществленная Василием Тучковым в Москве в первой половине XVI в.; можно предположить, что гибридный язык первоначальной редакции Тучков ощущал как подходящий скорее для летописного повествования, нежели для жития, и именно в связи с этим стремился переработать текст в соответствии с требованиями стандартного регистра (см.: Дмитриев 1958; Живов 1992а, 262–263). К концу XVII в. автономность гибридного регистра осознается настолько ясно, что данная разновидность может переосмысляться как особый «простой» язык, на который переводятся тексты, существовавшие прежде лишь на стандартном церковнославянском (имею в виду Псалтырь в переводе Фирсова 1683 г. — см. ниже).

Впрочем, переосмысление гибридного языка в качестве «простого» относится уже к эпохе, непосредственно предшествовавшей петровской языковой реформе, и представляет собой один из моментов реинтерпретации всего наследия средних веков на пороге нового времени. Для более раннего периода вряд ли можно говорить о каком-либо особом культурологическом (или символическом) значении гибридного регистра, о его соотносительности с отдельной системой культурных ценностей. Хотя в рамках книжной письменности выделяются и постепенно кристаллизуются отдельные письменные традиции, коррелирующего с этим расчленения культурного пространства не происходит. Нельзя, к примеру, сказать, что стандартный регистр соотносится с религиозной системой ценностей, а гибридный — со сферой светской культуры, или что стандартный регистр принадлежит культуре элитарной, а гибридный — низовой. Сфера книжной культуры продолжает быть сосредоточена вокруг единого центра, который — если говорить о текстах — воплощается в Св. Писании и богослужебных книгах (ср.: Едличка 1976; Алек-

сеев 1987а)¹⁰. В иерархическом построении восточнославянской средневековой книжности именно эти тексты выступают как абсолютный, онтологический текст, служащий образцом и моделью для всего культурного пространства (ср.: Пиккио 1973; Алексеев и Лихачева 1987, 69).

К стандартным церковнославянским текстам это относится самым непосредственным образом: они непосредственно связаны с религиозной жизнью, а основной корпус текстов (Св. Писания и богослужения) служит для них прямым образцом и в идеологическом, и в литературном, и в языковом отношении. Однако и гибридные книжные тексты не отделены от названного центра какой-либо ясно осознаваемой и четкой по своему выражению границей. В языковом плане, как уже говорилось, они могут достаточно существенно отличаться от церковнославянского стандарта и в этих своих отличиях образовать собственную традицию, т.е. быть ориентированными на единый центр не непосредственно, а через ориентацию на него исходных памятников того или иного «жанра». Тем не менее эти отличия воспринимались, видимо, как допустимые отступления, своего рода *licentiae*, которыми пользуются по слабости, а не по умыслу. Таким образом, эталоном правильного книжного языка и для гибридных текстов оставались тексты основного корпуса. В соответствии с этим гибридные тексты и осмыслялись как часть христианской литературы, а не как стоящий особняком культурный феномен. Наиболее отчетливо это видно на примере летописей.

О религиозной значимости летописей достаточно полно было в свое время сказано И.П.Ереминым: они могли рассматриваться как своеобразная часть духовной литературы, описывающая осуществление Божественного промысла в человеческой истории (ср.: Еремин 1966, 64–71). Поэтому основной их смысл оставался религиозным — показать свершения и страдания человечества (или малой его части) на его пути к спасению и извлечь из этой картины странствования народов через волны моря житейского духовные уроки. Для такого взгляда на историю главные вероучительные тексты оставались основным и важнейшим источником, даже вне зависимости от того, как часто цитирует Св. Писание тот или иной летописец. Столь же естественна при этом и

¹⁰ Для восточнославянского православия Св. Писание и богослужение в религиозно-культурном отношении следует рассматривать как единое целое. Св. Писание существует прежде всего внутри богослужения, в литургическом употреблении, и лишь затем как четья книга. По мысли А.Наумова, вся средневековая православная духовная литература у восточных славян может трактоваться как строящаяся на литургическом основании (ср. Наумов 1986). Функционирование и статус отдельных текстов определяется прежде всего их отношением к богослужению, а если они в богослужении непосредственно используются, их конкретным местом в литургическом действе (ср. еще § III-1).

связь летописей друг с другом. Они не столько продолжают фиксацию событий, начатую их предшественниками, сколько отмечают новые шаги в раскрытии Божественного замысла о человечестве, как бы переходя от задания к заданию в духовном уроке истории. Такое понимание летописания не только реконструируется из характера представления исторических событий в летописных памятниках, но и достаточно эксплицитно высказывается восточнославянскими анналистами¹¹.

Понятно, что если это религиозное понимание свойственно летописанию, то не в меньшей мере присуще оно и другим гибридным текстам, например, написанным на гибридном языке житиям. Более того, именно это единство понимания создает возможность для взаимодействия различных типов текстов, например, использования летописных фрагментов в агиографии или инкорпорирование в летописные своды (полностью или в извлечениях) житий, патериков, сказаний о чудотворных иконах. Объединенные общим религиозным пониманием, эти тексты не образуют четких жанровых границ и относительно свободно перераспределяют текстовый материал. При таком историко-литературном фоне границы между регистрами книжного языка также не отличаются особой четкостью и во всяком случае не осмысляются как проявление культурной дифференциации.

4. Переосмысление разновидностей книжного языка

Процесс культурологического переосмысления разновидностей книжного языка начинается внутри книжной культуры, и его исход-

¹¹ Так, в конце Рогожского летописца говорится: «Видите же Человѣколюбца и разумѣте высокую и страшную Его силу, аще и дасть врагомъ нашимъ время прїити на ны, ранами смиряя неправды наша, милости же своея не отведе до конца... И сїя вся написанная, аще и не лѣпа кому зрится,... мы бо не досажаяще, ни завидяще чести вашей и таковая вчинихомъ, тако бо обрѣтаемъ началнаго лѣтописца Кїевскаго, иже вся врѣменнобытства замѣскаа необинуяся показуетъ, но и первїи наши властодержци безъ гнѣва повелѣвающе вся добрая и не добрая прилучившаяся написовати, да и прочимъ по нихъ образы явлени будутъ... Мы же симъ учащєся, таковая вся приключыающаяся въ дни наша не преминухомъ, властодержецъ нашихъ дозрящихъ сїхъ, таковымъ вѣщемъ да внимають, юнїи старцевъ да почитають и сами едини безъ искуснѣишихъ старцевъ всякого землѣскаго правленїа да не самочиннують, ибо красота граду есть старечество, понеже и Богомъ почтено есть старечество, рече бо писанїе: выпроси отца твоего возвѣстити тѣ, и старца твоя рекуть ти...» (ПСРЛ, XV, стб. 185).

ные импульсы могут быть усмотрены в динамике самой этой культуры, а не во внешних факторах. Те процессы функционального переосмысления генетически разнородных элементов, о которых говорилось выше, были результатом взаимодействия книжного и некнижного языка и могли рассматриваться как приспособление книжного языка к местным условиям. Но с определенной точки зрения такое приспособление есть порча (ср. восприятие современного им греческого у византийских ценителей античной образованности или восприятие средневековой латыни у гуманистов), и подобное понимание, потенциально присутствуя в осмыслении любого книжного языка, ждет лишь благоприятных культурологических обстоятельств, чтобы стать актуальным фактором в его преобразовании. В Московской Руси такие обстоятельства образуются в конце XIV в., когда сплочение православного мира становится общей заботой Константинополя и славянских стран, а приведенный ими в действие процесс традиционно именуется «вторым южнославянским влиянием», хотя для него давно уже стоило бы найти более подходящее название.

Определяющим моментом второго южнославянского влияния была переоценка соотношения книжного и разговорного узуса, тогда как внешнее влияние (влияние южнославянской книжной традиции) оставалось явлением вторичным, обусловленным поисками нового, не подвергшегося «порче» образца (ср.: Ворт 1983б, 354; Успенский 1983, 55). Обращение к южнославянским образцам исходило из идеи очищения и упорядочения основного корпуса текстов (Св. Писания и богослужения): южнославянская книжность воспринималась в данный период как более «правильная» и устроенная, т.е. как подходящий инструмент для решения задач, возникших на собственно восточнославянской почве. Принципиальное значение имела постановка этих задач; она указывает на развитие филологической рефлексии, в результате которой и образуется новое восприятие предшествующей литературной традиции — не как привычной данности, а как объекта преобразований. Как и у западных гуманистов, этот момент отмечает, хотя бы потенциально, «the end of any scriptum est or ipse dixit, truths established once and for all» (Пиккио 1975, 170). Именно в этой новой перспективе предшествующая эволюция книжного языка начинает рассматриваться как «порча». Соответственно, перед русскими книжниками встает задача «очищения» книжного языка, и естественным средством такого «очищения» представляется отталкивание книжного узуса от узуса разговорного. Южнославянские тексты выступают при этом как модель, поскольку их лингвистические характери-

ки находятся в явном противостоянии с естественными речевыми навыками русских писцов¹².

Первоначально новое отношение к тексту реализуется в сфере воспроизводимых текстов, т.е. тех текстов, которые переписываются, редактируются, перерабатываются, но не создаются заново. Именно к этой сфере принадлежит основной корпус текстов, реформирование которого как фундамента всей культуры и было задачей, вызвавшей обращение к южнославянским источникам. Однако преобразования не могли этим ограничиваться, поскольку новые принципы неизбежно должны были распространиться и на какую-то часть оригинальной книжной деятельности. Принцип отталкивания от живого языка делал незаконным обращение к естественному языковому опыту книжника, и в силу этого появлялась необходимость в регламентации иного типа, не апеллирующей к этому опыту, а выражающейся в системе абстрактных правил. Появление таких правил указывает на развитие грамматического подхода к книжному языку, а «второе южнославянское влияние» выступает как стимул этого процесса.

Потребность в грамматической регламентации обуславливает появление разнообразных грамматических руководств. Сначала они

¹² В своем известном докладе на IV Съезде славистов Д.С.Лихачев сопоставил второе южнославянское влияние у восточных славян с теми культурными явлениями, которые были характерны для Западной Европы накануне Возрождения (Лихачев 1958). В общем виде эта концепция не может быть обоснована, и никакого отношения к византийской или западноевропейской гуманистической традиции второе южнославянское влияние не имеет. Однако отдельные аналогии в сфере отношения к тексту, к проблемам его передачи (*traditio*), сохранения и исправления могут быть все же выявлены (см.: Пиккио 1975). Тем не менее нет оснований говорить о едином византийском источнике западного гуманизма и процессов, связанных с исправлением книг, у славян; здесь, на мой взгляд, предложенная Р.Пиккио схема развития несколько упрощает действительную картину. Наиболее существенным моментом, отличающим восточнославянское развитие от западноевропейского, является состав основного корпуса текстов, на который ориентирована как вся культура в целом, так и филологическая деятельность, в частности, выработка нормативных нарративных структур, норм книжного языка и т.д. В рамках *Slavia Orthodoxa* этот корпус включает лишь религиозные тексты (Св. Писания и богослужения), тогда как для Византии и Западной Европе в него входят также и «классические» (т.е. античные) авторы. В силу этого у восточных славян на первом плане оказывается связь между религиозными ценностями и филологическими задачами и языковая чистота соотносится с чистотой вероисповедной, чего в столь прямом виде не было даже у Эразма, не говоря уж о других гуманистах.

приходят от южных славян (трактат «О осми частех слова» — Ягич 1896, 38 сл.; Ворт 1983а, 14–21; орфографический трактат Константина Костеченского — Ягич 1896, 247 сл.; Голдблатт 1987; возможно, некоторые другие сочинения — ср.: Соболевский 1903, 34–36). Затем этот филологический материал осваивается русской книжностью, получает на русской почве свое продолжение и развитие и создает почву для контактов в этой сфере с западноевропейской (прежде всего немецкой) филологической традицией. Отвлекаясь от ряда мелких статей грамматического содержания, достаточно указать в этой связи на «Донатус» Дмитрия Герасимова (Ягич 1896, 524 сл.; ср.: Ворт 1983а, 76–165; Мечковская 1984, 38–40; Живов 1986, 93–107; Кайперт 1989; Захарьин 1991), завершенный в 1522 г. (возможно, и несколько ранее, ср.: Мечковская 1984, 39) и заключающий в себе «определенную семантическую систематизацию языковых форм» (Мечковская, там же). С приездом в Москву в 1518 г. Максима Грека грамматическое учение получает здесь дальнейшее развитие и осмысливается как «начало и конецъ всакомѹ любомѹдрію» и «вождь к' бѣговидномѹ смотренію и предивномѹ и непристоупномѹ бѣгословію» (Ягич 1896, 333). Разработанность грамматического учения связывается при этом с достоинством книжного языка, и грамматика делается важнейшим критерием в оценке правильности текстов.

Это новый подход к грамматике радикально меняет соотношение образцовых текстов и грамматических установлений. Образцовые тексты перестают быть последним арбитром и могут правиться в соответствии с вновь разработанными грамматическими правилами. Именно с Максима Грека и берет начало книжная справа, основанная на грамматике. Проиллюстрирую основные линии этого развития тем, как правилось глагольные формы. Первым шагом грамматической нормализации была организация парадигм. Составляя парадигмы глаголов в прошедших временах, русские грамматисты сталкивались с омонимией форм 2 и 3 лица ед. числа типа *глагола* — *глагола* или *глаголаше* — *глаголаше*. Такое устройство парадигмы противоречило известным им образцам (греческим и латинским) и не согласовалось, видимо, с их представлениями о правильном грамматическом устройстве. Поэтому в парадигмы прошедших времен во 2 или во 2 и 3 лице вводятся *л*-формы, что позволяет разрешить омонимию, т.е. получить приемлемую для тогдашних лингвистических воззрений парадигму. Именно так и поступает Дм. Герасимов в своем «Донатусе» (Ягич 1896, 566–567, 572, 575, 578, 583), и этот способ усваивается затем всеми последующими восточнославянскими грамматиками книжного языка (Живов и Успенский 1986, 261).

Виктор Маркович Живов

Язык и культура в России XVIII века

Издатель А. Кошелев

Корректор Е. Вагина

Подписано в печать 21.05.96. Формат 70х100 1/16.

Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Школьная.

Усл. печ. л. 37. Уч. изд. л. 38,5. Заказ № 4431 Тираж 3000.

Издательство Школа “Языки русской культуры”. Москва, Zubовский 6-р, 17.

ЛР № 071105 от 02.12.94

Отпечатано с оригинал-макета во 2-й типографии РАН

121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

Оптовая реализация — тел.: 240-32-13.